

Предисловие

Первый черновик «Центра тяжести» я закончил в самом конце 2016 года. Это была книга о молодых людях, которые пытаются, по выражению одного из героев, «[выстроить] вокруг родных капсулу разумного, безопасного мира», но ничего не выходит — стенки капсулы истончаются, а в конце — спойлер! — герои терпят крах и бегут из страны.

Прошло пять лет с момента выхода книги, и вот я пишу предисловие к переизданию, Россия в изоляции, я за границей и не знаю, смогу ли когда-то вернуться, и, хотя сам я в безопасности, мне тем не менее приходится тщательно подбирать слова, чтобы не навредить оставшимся на родине моим редакторам, агенту и издателю.

Когда в 2016-м я заканчивал первый черновик романа, я не чувствовал радости, скорее неловкость — всякий дебютант знает, о чем я. Все — или многие — дебютные романы похожи: ты пишешь их с ощущением, что второй попытки не будет, что это — твой последний шанс сказать хоть что-то, поэтому ты запикиваешь в одну книжку все, что есть у тебя за душой. Но тебе нет и тридцати, и за душой не так уж много всего. Поэтому первый роман чаще всего выглядит как набор сюжетов, неловко скрепленных страхом автора, что он неинтересный писатель.

Так было и у меня: я писал вслепую, обо всем, что болело и беспокоило. Отсюда в романе травля в школе, развод родителей, увлечение акционизмом, технофобия и, конечно, политика. А еще вставные сказочные новеллы. На новеллах я хотел бы остановиться поподробнее. Потому что не все они дожили до печати. Черновик «Центра тяжести» был довольно большой, на финальном этапе он трещал по швам от несвязанных между собой сюжетов, и я боялся, что редактор не сможет дочитать эту хреновину до конца и меня попросту никогда не напечатают. Так — чтобы облегчить текст — я решил вырезать несколько самых безумных вставных историй. В итоге я оставил только самые сказочные, детские — о чем сейчас немного жалею.

Одна из вырезанных новелл называлась «Товарищ Дубов, наладчик трубопроводов». Рассказ начинался как стилизация под советский соцреализм: главный герой работает на распределительной станции некоего трубопровода, и сначала все выглядит так, словно по трубам качается обыкновенная нефть, но затем в текст проникают разного рода странные детали, и постепенно становится ясно, что действие происходит в техническом отделе подземного мира, а товарищ Дубов — одно из воплощений смерти. Дубов замечает на одном из счетчиков отклонение от нормы. В трубопроводе, идущем через город Оградогорск, резко упало давление — обычно это говорит об утечке. Дубов берет свой чемоданчик с инструментами и отправляется в Оградогорск, чтобы найти и залатать пробоину. На месте он обнаруживает, что утечка вызвана вовсе не аварией, жители близлежащего города наткнулись на трубу и по старой русской привычке решили просверлить в ней дыру, проверить, что внутри. Из трубы потекла черная жижа, вещество смерти, а мужики решили, что это мазут, и подключили трубу к местной котельной. С тех пор дома в Оградогорске отапливают смертью. Но это не все: дым, идущий из труб, отравляет воздух и влияет на людей весьма своеобразно — на коже горожан, как

татуировки, проявляются надписи, которые обычно пишут на могильных плитах — эпитафии, годы жизни или даже портреты умерших*. У некоторых из груди, из спины или из шеи, разламывая кости и разрывая мышцы, прорастают фрагменты ржавых кладбищенских оградок и пластиковых венков. В конце новеллы товарищ Дубов обнаруживает, что все оградогорцы превратились в ходячие могилы. Поскольку Дубов — бюрократ, он не может просто так развоплотить их обратно; вернуть человеческий облик можно только в том случае, если люди попросят его об этом, и здесь герой сталкивается с главной проблемой — люди-оградки не желают ничего исправлять, ведь тогда им придется сознаться, что они подворовывали из трубопровода, а это для них — слишком: ведь признавать свои ошибки — это для лохов. Так они думают. Им проще приспособиться к новой жизни ходячих оград и надгробий.

Тогда, еще в 2016-м, я помню, решил не включать этот текст в роман. Он казался мне слишком чернушным и нелепым, я попросту стеснялся этой своей завороченности могилами. Я думал, что это какой-то мой личный бзик, который не стоит вываливать на читателя, в романе и так достаточно других моих бзиков. А теперь, в 2022 году, читаю новости из России и думаю: ой.

Вторая удаленная новелла называлась «Золотая антилопа». Это была история о чудовище, живущем в пещере рядом с деревней, — местные жители называют его «золотой антилопой», хотя оно не особо похоже на антилопу: тело у него антилопье, ножки худые и тонкие, как у газели, но голова огромная, безволосая и безглазая; его голова — один большой рот, и чудовище не может держать ее прямо, поэтому волочит свой череп с раззявленным ртом по земле

* Эта идея, кстати, позже все же дала небольшой росток: в моем втором романе «Риф» есть история о эзке, который превратил свое тело в мемориал, набил на нем имена погибших при расстреле.

на длинной тонкой шее. Антилопа никогда не выходит из пещеры, поэтому, в общем, если к ней не заходить, то никакой опасности и нет. Но при этом человек может сам прийти к чудовищу и дать ему съесть часть своего лица, а в обмен получить небольшой золотой самородок. Идея была в том, что люди ходят к антилопе сами, точнее — они вынуждены, потому что дела в деревне идут очень плохо, и, если кто-то влез в долги или взял кредит, который не в силах отдать, у него чаще всего остается только один вариант: отправиться в пещеру и обменять глаз или нос на золотой самородок.

Заканчивался рассказ описанием деревни, в которой по улицам ходят исключительно люди с обглоданными лицами, и, когда становится очевидно, что лиц больше нет, а золота все еще хочется, местные мужики придумывают план: они снаряжают отряд, и идут в соседнюю деревню, и начинают похищать из нее людей, и скармливают их золотой антилопе — фактически обменивают похищенных на золотые самородки.

Я помню, как написал первый черновик этой кроненберговской сказки и даже придумал, куда мог бы вставить ее в романе, но в итоге решил, что лучше не надо: история казалась слишком жестокой, грубой и топорной метафорой потери лица и очень омрачала и без того довольно безрадостную вторую часть романа.

Теперь я вспоминаю эту историю о потерявших свои лица деревенских мужиках, которые снаряжают отряд, чтобы напасть на соседей, и думаю: ой.

Теперь сказки о золотой антилопе и товарище Дубове для меня — примеры того, что бывает, когда молодой автор не доверяет себе и боится собственной фантазии. Вырезая новеллы из романа, я полагал, что поступаю правильно, ведь они не соответствуют тону книги, думал я, и плохо сочетаются со всеми остальными — довольно наивными — сказками. Нина Ходжарова не стала бы писать подобного, ведь ее сказки — добрые. Теперь мне кажется, что я ошибся.

И разумеется, когда мне сообщили, что «Центр тяжести» ждет переиздание, я тут же подумал: вот оно, я смогу вернуть эти мрачные хорроры в текст. Но тут же одернул себя — все же роман уже существует, и у него есть своя интонация, и добавлять в него чернушные новеллы о смерти и увечьях — значит полностью эту интонацию поменять. А значит, в измененном виде это будет уже совсем другая книга. Эту, другую, книгу я тоже когда-нибудь напишу — потом. А сейчас мне кажется, что было бы нечестно запикивать в роман то, что сам же забраковал пять лет назад. А еще это было бы иронично: за последние годы я так много писал о переписывании истории (роман «Риф» полностью посвящен этой идее), а теперь — что? — пытаюсь переписать собственную историю?

Но — ничто ведь не мешает мне пересказать эти новеллы тут, в предисловии, так я смогу сохранить их, сделать их частью романа, при этом не сломав ничего внутри.

И все же новое издание «Центра тяжести» отличается от первого — редактор Татьяна Королёва прошла по тексту и помогла сделать книгу лучше, тоньше. А еще убрала из романа кучу анахронизмов и фактических ошибок.

Теперь, глядя на «Центр тяжести» спустя пять лет после его завершения, спустя десяток исторических событий, последствия которых нам всем теперь придется разгребать, я думаю, что могу дать молодым авторам один совет: больше доверять интуиции и не бояться идей, которые кажутся вам безумными или чернушными. Мой опыт показывает, что в России именно безумные идеи имеют свойство воплощаться в жизнь — как правило, только они, увы, и воплощаются.

Это напоминает мне, как забавно он описывал мистеру Лангтону несчастное состояние одного молодого джентльмена из хорошей семьи: «Сэр, когда я в последний раз слышал о нем, он носился по городу, упражняясь в стрельбе по котам». А затем мысли его вполне натуральным образом отвлеклись, и, вспомнив о своем любимом коте, он сказал: «Впрочем, Ходжа не пристрелят, нет-нет, Ходжа никогда не пристрелят».

Джеймс Босуэлл. Жизнь Сэмюэля Джонсона

Петро

Я был сложным ребенком — я начал приносить родителям неприятности задолго до своего рождения. Когда моей будущей маме было двенадцать — а мне, стало быть, минус двенадцать, — беззубая цыганка на ярмарке сказала ей: «Твой первый сын будет уродом». Мама была молода и суеверна — она поверила в пророчество. Вернувшись домой, она заявила, что ни за что не родит на свет чудовище.

— Но как же так? — удивлялась ее мама, моя будущая бабушка. — Ты хочешь быть бездетной?

— Нет, — сказала моя мама. — Я сначала рожу второго ребенка, а потом резко перестану рожать.

Эта фраза стала семейным анекдотом, ее рассказывали всем гостям во время праздничных застолий.

Но шутки шутками, а мать моя никогда не давала пустых обещаний: зазор между словом и делом у нее тоньше лезвия бритвы.

Когда я родился, вся родня склонилась над моей колыбелью.

— Так-так, — сказал отец, — значит, получилось.

Мой отец — математик. Он не верил в мистику, беззубых цыганок и прочую абракадабру. Если бы ему сообщили, что он будет жить вечно, он тут же пустил бы себе пулю в лоб — просто чтоб доказать несостоятельность подобного заявления.

И все же — однажды он признался мне, что влюбился в мою маму задолго до того, как встретил ее.

— Мне рассказали, что на журфаке учится барышня, которая собирается рожать детей в обратном порядке. Я был покорен. Заочно.

История их знакомства — загадка. Они прекрасно помнят тот день — проблема в том, что они помнят его по-разному. Или, точнее, помнят разные дни.

>>>

Мама училась на последнем курсе журфака и проходила практику в коммунистической газете «Красный взгляд». Газета бестолковая и тоскливая, как полное собрание сочинений Ленина, — даже сотрудники редакции потешались над изданием и между собой называли его «Конъюнктивит» (символом «Красного взгляда» был огромный красный глаз). Обязанностей у мамы было немного, и все они сводились скорее к редактуре, чем к журналистике. Шел восемьдесят пятый год, 23 апреля, тот самый день — начало перестройки. И так уж вышло, что старший репортер газеты именно в тот день поскользнулся на льду и сломал обе руки («Постой-ка, а как он нашел лед весной? 23 апреля же!» — «Не перебивай! Откуда я знаю? Мне сказали, что поскользнулся на льду». — «По-моему, это странно. Это имеет смысл, только если он на катке был». — «Слушай, помолчи, а?»), и главный редактор вызвал маму к себе в кабинет. Ее задача, сказал он, сидя в огромном красном кресле под портретами-профилями Маркса-Энгельса-Ленина, взять интервью у молодого, но уже очень известного в узких кругах математика Павла Портного.

— Он будет ждать вас в библиотеке МГУ. Ровно в двенадцать.

Она опоздала на сорок пять минут («Типичная Нина». — «Ой, заткнись»).

И все же маме повезло — в тот день она нашла его. В столовой. Он сидел на подоконнике и, держа между коленей разрезанный напополам арбуз, огромной ложкойковырял хрустящую красную сердцевину. Худой неухоженный очкарик.

«Явный перебор с бровями», — подметила она.

(«Неправда! Не было никакого арбуза! Я читал книгу! Сител на подоконнике и читал книгу! Откуда вообще взялась эта чепуха про арбуз?» — «Тьфу! То тебе лед не нравится, то арбуз!»)

В тот день моя мать встретила моего отца. Проблема в том, что он встретил ее гораздо раньше.

Они ходили в один и тот же бассейн, при университете. Он плавал на сто метров, она — на четыреста. Он не блистал успехами, да и вообще боялся воды, но все равно каждый вторник натягивал унизительные узкие плавки, надеясь, что когда-нибудь все же наберется смелости и пригласит красотку в кино.

И вдруг она сама нашла его. Он ел арбуз («Не было арбуза! Не было! Я читал книгу!» — «Да? И какую же?» — «“Обезьяну и сущность” Хаксли») и был так смущен, что боялся смотреть на нее. Но когда она рассказала, зачем пришла, он успокоился: числа делали его бесстрашным.

«Человек-калькулятор, — отзывались о нем коллеги. — Не мозг, а микросхема».

>>>

Моя мать приехала в Москву из далекой провинции — за признанием. Она хотела посвятить свою жизнь чему-то важному и, окончив школу, подала документы в МГУ на факультет журналистики, но за пять лет, тысячу двести сорок часов лекций, тысячу шестьсот сорок часов семинаров и сто два часа практики, поняла лишь одно — что ненавидит журналистику и журналистов. И все же эта страсть — служить

великой цели — всегда жила в ней и искала выхода. Так Павел Портной, человек-калькулятор, стал ее проектом. У нее появилась цель: посвятить жизнь гению, как Алисия Нэш, Альма Хичкок или Мерседес Барча. Быть опорой для большого ума, о верности которой через много лет биографы будут с восхищением писать: «Это все благодаря ей!» Она уже видела, как в старости будет гулять по университетским аллеям и люди будут оборачиваться и шептаться: «Ой, это же жена лауреата премии Филдса. Помните ту его трогательную речь? Это он о ней говорил».

Да, именно в таком ракурсе она видела их совместное будущее — и именно над ним собиралась работать. Но — время шло, и оказалось, что не так-то просто заставить гения быть гениальным. Отец так и не выбился в ряды больших ученых: у него не брали интервью (на самом деле то, самое первое, их совместное интервью стало последним), с его лица не делали слепки для производства бронзовых бюстов. Его пивной живот рос быстрее, чем репутация. А его легкий эстонский акцент — он плохо выговаривал букву «д»: ротина, тереве, тверь — с годами все сильнее раздражал ее.

«Он одарен, да, но не талантлив. Это разные вещи. Его статьи в научных журналах так же скучны, как его рубашки и шутки. Да, он почти доказал гипотезу Римана. В этом весь он — одно сплошное “почти”», — жаловалась она подругам.

Со временем она стала испытывать к нему что-то вроде нетерпеливого раздражения — сродни тому, что чувствует капризный ребенок к машинке, у которой не крутятся колеса. А гипотеза Римана так и осталась недоказанной.

— Ну чего ты от меня хочешь? — спрашивал он, разводя руками (отчего становился похож на огородное пугало, думала она). — Я живу честно, я телаю свое тело. Чем я провинился?

— Ну коне-е-ечно! Ты ни в чем не виноват! Это я, это все я! Чего я хочу? Я хочу большего, понял? Сделай

одоление — убери ноль из знаменателя. Такой ум — а дураку достался.

Большой ум должен ослеплять, а не тускло поблескивать в ночи, как бутылочное горлышко в свете луны. Так думала моя мать. И в их любовном треугольнике — он, она и ее амбиции — он оказался третьим лишним.

Красавица и калькулятор.

И каждый вечер, стоя на балконе, завернувшись в плед, докуривая сигарету, бросая бычок в темноту, она говорила себе: «Сама виновата».

>>>

Мое рождение немного изменило схему их отношений. Мать перестала злиться на отца — и раздражение сменилось равнодушием. Женой гения она так и не стала и теперь хотела быть матерью гения. Амбиции ее всегда опережали время — и логику. Уже в четыре года меня отдали в музыкальную школу — по классу фортепиано.

«Ты будешь новым Шопеном», — шептала она, укладывая меня спать.

Но через два года клавишных пыток выяснилось, что особых музыкальных данных у меня нет и все, на что я способен, — это читать партитуры, запоминать последовательность нот, но не играть их.

Тогда мама отвела меня в секцию плавания. «Ты будешь олимпийским чемпионом». На третий день я чуть не утонул в бассейне.

К десяти годам я числился во всех возможных школах, кружках и секциях — включая кружок оригами и школу дрессировщиков перуанских альпак при цирковом училище*. И везде я был не к месту — как римский сестерций в горсти советских рублей.

* Ладно, шучу, не было такой школы; но если бы была, меня бы и туда записали.

Мама отчаянно искала во мне зерно величия — и при этом очень боялась, что я буду похож на отца. А я — уже в одиннадцать лет я мог по памяти воспроизвести число пи до пятисотого знака после запятой, ни разу не запнувшись. Отец знал об этом и, конечно, мной гордился, но мы скрывали мой талант от мамы — к тому времени математика в ее глазах была сродни неизлечимой хвори. Она потерпела фиаско с отцом и очень боялась, что я повторю его судьбу. А я — при ней я делал вид, что ни черта не понимаю в цифрах. И получалось, что я вру сразу им обоим: маме — о том, что не похож на отца, а отцу — о том, что хочу быть похожим на него.

>>>

Они всегда ругались, если речь заходила о моем будущем.

— Может, лучше спросим у него, чего он хочет? — сказал однажды отец, когда я вернулся с кружка авиамоделирования, облепленный пластиковыми деталями самолета «Ил-2, штурмовик». Мама выковыривала куски фюзеляжа у меня из волос, а отец обрабатывал растворителем пальцы, к которым были намертво приклеены бомбы и закрылки.

— Он ребенок! — сказала мама. — Он не знает, чего хочет. — Она выдернула кусок «Ил-2, штурмовика» вместе с клоком волос.

— Ай! Бо-о-ольно! — закричал я.

— Терпи, — сказала она. — Как ты вообще умудрился? Ей-богу, не ребенок, а беда какая-то! Ну скажи мне, как можно было приклеить к ушам куски пластмассы?

— Это не я! Это ребята! Они спросили, хочу ли я быть супергероем. Я сказал «да». А они сказали, что я теперь — человек-самолет.

Мама не оценила шутку.

— И все-таки, может, не стоит отправлять его на все возможные секции от-тнoвременно? — не унимался отец.

Он отдираал закрылки от моих пальцев и бросал их в эмалированную кастрюлю с теплой водой, стоявшую рядом.

— Ребенок должен всесторонне развиваться, — сказала мама. — Ты у нас умник, но почему-то ничего никогда не знаешь. Прочитай любую книгу по детской психологии. Детский мозг как губка: он впитывает информацию в семь — слышишь, в семь! — раз интенсивнее, чем мозг взрослого дурака.

— И что с того? — спросил отец. — Это вовсе не значит, что он т-толжен пахать за семерых. Ты ведь помнишь себя в тетстве, ты наверняка уже знала в тесять лет, что тебе нравится, а что нет.

— Да ничего я не знала ни в «тетстве», ни в «тесять лет»! — Мама всегда издевалась над его произношением, когда они спорили.

Она выдернула у меня из волос еще одну деталь «Ил-2, штурмовика».

— Ай! Бо-о-ольно!

— Терпи. Это что такое? — Она показала мне деталь.

— Это ротор, — сказал я. — На него крепится винт.

— Вот видишь! — сказала мама отцу. — Даже если ему не нравится то, что он делает, возможно, эта информация пригодится ему в будущем. Человек должен быть всесторонне развит. А ты знаешь, что такое ротор? Вот и я думаю, что нет.

Я хотел почесать затылок, но отец схватил меня за руку.

— Кута? У тебя руки в ацетоне.

— Но у меня чешется.

— Чешется у него! Где чешется?

— В затылке.

Мать с отцом стали вместе чесать мне затылок: мама левое полушарие, папа — правое. Мама чесала нежнее.

— Скажи: тебе нравится секция авиамот-тэллирования? — спросил отец.

— Ну, вообще-то... — начал было я, но мама меня перебила:

— Перестань портить ребенка!

— «Портить»? С чего это? Я просто хочу узнать больше о его претпочтениях. Разве тать ребенку то, что он хочет, — это не самое лучшее воспитание?

— Брось! Ты прекрасно знаешь, что воспитание состоит из ограничений. — Мама презрительно посмотрела на него. — Дешевый трюк!

— Какой трюк? Нет никакого трюка!

— Ты пытаешься выставить меня ответственной за все тяготы обучения, а сам эдак исподтишка даешь ему мнимую свободу. Это популизм.

Они стали ругаться, продолжая чесать мой затылок.

— «Популизм»? Нет никакого популизма!

— Перестань делать это!

— Телать что?

— Ты все время повторяешь последнее мое слово.

— Слово?

— Ну вот опять!

— Опять?

Отец улыбался — ему нравилось злить ее.

— Mam, pap! Мне больно! — подал голос я, и они перестали чесать мой затылок.

— Ты предлагаешь дать ребенку свободу, — сказала мама. — Но он же ребенок. Если детям дать свободу, они через час заболеют, объевшись мороженым. А через сутки превратятся в чумазых мартышек.

— Может быть, в этом твоя проблема? — сказал отец. — У тебя комплекс Атланта: тебе кажется, что небо рухнет, если ты не бутешь его тержать. Просто ослабь хватку. Совсем чуть-чуть. Перестань тержать небо.

Повисла тишина. Мои родители смотрели друг на друга, я смотрел на них снизу вверх, сидя на табуретке, все еще облепленный деталями «Ил-2, штурмовика».

— Ты — прямо типичный Козерог, — сказала мама презрительно.

Отец закатил глаза: «О госпот-ти! Опять».

— Ну конечно, — вздохнул он, — звезды виноваты.

— Можешь сколько угодно издеваться над астрологией, но все твоё поведение сейчас доказывает, что я права. Ты — упертый, упрямый скептик, как и все Козероги.

— То есть, по-твоему, я не верю в астрологию потому, что я Козерог?

Мама хотела ответить ему, но не нашлась и повернулась ко мне:

— Петро, сынок, скажи: может быть, ты хочешь записаться в какую-то конкретную секцию?

— Или уйти из какой-нибудь, — добавил отец.

Я испуганно смотрел на них снизу вверх. Это был первый раз в моей жизни, когда родители спросили мое мнение. По спине, вдоль позвоночника, гадко щекоча, прокатилась холодная капля пота. Я видел глаза отца — я знал: он ждет от меня поддержки его математической линии. Но я не мог — ведь я хотел совсем другого.

— Я хочу быть антропологом, — сказал я.

— Чего-о? — Они переглянулись.

— Простите, — пробормотал я, глядя на свои ладони, облепленные бомбами и закрылками «Ил-2, штурмовика». — Я много думал: я всегда мечтал путешествовать и изучать странные вещи. Я люблю странные вещи. А недавно я узнал, что существует такая профессия — антрополог. И я решил, что буду антропологом.

Родители молча смотрели на меня. Прошло примерно двести семьдесят пять лет, прежде чем они оттаяли и снова заговорили.

Отец виновато чесал затылок — на этот раз свой.

— Тела-а-а, — сказал он.

— Мам, пап! — Я видел, что они не воспринимают меня всерьез, и мне хотелось плакать от обиды. — Я уже даже прочитал одну книгу по антропологии: там человек три месяца жил среди дикарей. Я тоже так хочу. Я хочу в Монголию.

— Почему в Монголию?

Я пожал плечами:

— Потому что там есть дикари.

— Ох-х... — Мама погладила меня по голове. — Поверь, сынок, дикари есть везде. И чаще всего даже там, где ты совсем не ожидаешь их встретить.

>>>

Все эти разговоры угнетали меня — я жил с ощущением, что не справляюсь с тяжестью родительских надежд. Но я был хилым ребенком — и надежды давили все сильнее: и чем бы я ни занимался — я был ниже среднего; как тройка в школьном дневнике: всего лишь «удовлетворительно» и оттого постыдно.

«Завышенные ожидания родителей — одна из главных причин детских комплексов» — это я вычитал в книжке по воспитанию детей. У мамы их полно. И книжек, и ожиданий. Она сама — дочь талантливой пианистки и потомственного военного — выросла под высоким давлением родительских упований. От нее всегда чего-то ждали — успехов, достижений, медалей. И вот, казалось бы, наполненное невротами детство должно было как-то скорректировать ее отношение к собственным детям — но не тут-то было. Довольно сложно вырасти уверенным в себе человеком, если твои родители постоянно говорят тебе: «Ты не дотягиваешь». А если и не говорят, то ведут себя так, что все понятно без слов.

А между тем мама была очень талантлива. Честное слово, я не преувеличиваю и не пытаюсь приукрасить прошлое. У нее был дар — она сочиняла сказки. Выдумывала их буквально на ходу, когда укладывала меня спать вечерами.

Однажды я пришел домой из школы, и, помогая мне раздеться, мама нашла в моем кармане камень.

— Это еще что такое?

Я рассказал, что видел по телевизору, как ураган вырывает дерево из земли и уносит прочь. И это так меня напугало, что теперь, выходя на улицу, я набивал карманы камнями — мне казалось, что если меня настигнет ураган, то тяжесть камней не позволит ему оторвать меня от земли. Мама внимательно слушала историю. Она не смеялась надо мной и не называла меня дурачком — нет, она всерьез задумалась над моими словами. И уже вечером, вдохновленная моей историей, она написала сказку.

ГРАФТ И СЕРДЦЕ

Графт был необычным мальчиком — он родился без сердца. В прямом смысле. Под ребрами с левой стороны у него было пусто. А в остальном он был такой же, как все, — любил футбол, конфеты и маму. Он никогда не дрался, не грустил и не дергал за косички одноклассниц — он был сам по себе. Как большой палец на руке.

И только одно беспокоило его родителей: Графт был такой легкий, что при ветреной погоде ему приходилось носить в кармане тяжелый камень, иначе ветер уносил его слишком далеко от дома.

Мать водила его по врачам, но никто из них так и не смог объяснить, почему ребенок весит не больше сухого листа и как это связано с отсутствием сердца.

Вот так и проходил Графт всю свою юность с пустой грудной клеткой и камнем в кармане. Окончил школу, институт, и пришло время искать работу. Все люди работают — а почему, зачем? Никто не знает. Графта учили, что человек должен приносить пользу, поэтому и работу он искал особенную: такую, где он мог бы быть полезен.

Он решил стать врачом и пошел в больницу.

Приходит и говорит:

— Я хочу быть врачом. Дайте мне больных, я буду их лечить. — И кулаком по столу стучит. — Где больные? Я пришел их лечить. Почему мне не дают больных?

— А почему вы хотите лечить людей? — спросили у него люди в белых халатах.

— Я умный! — ответил Графт и опять стукнул кулаком по столу. Он любил стучать кулаком по столу — ему нравились громкие звуки. — Я знаю о внутренних органах все. Я окончил институт — вот красный диплом. Еще у меня есть зеленый и синий. У меня много дипломов, потому что я умный, а вы — нет. Ха-ха-ха! — засмеялся Графт. У него было необычное чувство юмора.

— А справка о здоровье у вас имеется? — спросили люди в белых халатах. — Чтобы лечить больных, надо самому быть здоровым!

— Конечно, есть! Вот!

— Но постойте! — сказали люди в белых халатах. — Тут написано, что у вас нет сердца.

— Ну и что? Зато у меня есть руки. Разве больных лечат не руками? — Графт показал им свои огромные руки, пошевелил пальцами.

— Извините, — сказали люди в белых халатах. — К сожалению, мы не принимаем на работу людей без сердца.

— А что же мне делать тогда? — спросил Графт.

— Ну, вы можете стать политиком. Или военным. Или адвокатом.

— Но я хочу приносить пользу! — сказал Графт. — Я много учился, я много знаю!

— Для того чтобы приносить пользу — знать недостаточно, — сказали люди в белых халатах.

И Графт ушел. Он совсем не расстроился — у него ведь не было сердца. И даже в детстве, когда он читал книги, например «Дон Кихота», ему было скучно: он не понимал, почему люди страдают, встречая несправедливость.

Графт переходил дорогу, когда его окликнул человек: «Эй, парниша! Я слышал, тебе нужно сердце?»

Графт обернулся. Перед ним стоял некто в коричневом плаще — руки он держал в карманах, а высокий воротник

был поднят; Графт не видел лица, и ему казалось, что это сам коричневый плащ с ним разговаривает.

— Что вы сказали?

— Я могу продать тебе сердце. Ты ведь хочешь принести пользу?

Графт кивнул.

Коричневый Плащ повел его по узким, темным переулкам, они зашли в какой-то подвал, где одинокая лампочка освещала стол, стоящий посреди пустой комнаты. Порывшись под столом, Коричневый Плащ достал картонную коробку и открыл ее. Графт заглянул туда — и увидел десятки сердец. Синевато-красные, овальные — они выглядели точь-в-точь как на картинках в учебнике биологии. Только живые, настоящие. И все они бились, пульсировали — одни быстро и громко, другие медленно и спокойно.

— Это отдам за полцены, — сказал Коричневый Плащ, указав на маленькое чахлое сердце с дырочкой в боку.

Дырочка была заклеена пластырем, но пластырь держался плохо. Сердце билось — и дырочка свистела, приподнимая пластырь.

Графт взял одно сердце — и оно засветилось у него в руках, как лампочка.

— А чего это оно? — спросил Графт.

— Чувствует тепло человеческих рук, — сказал Коричневый Плащ. — Они всегда так. Люди часто покупают их как светильники. Это очень выгодно — гораздо выгоднее даже, чем энергосберегающие лампы. Сердцу ведь не нужно электричество — достаточно сказать несколько ласковых слов, и оно начинает светиться. Глупый орган.

— Да. Глупый, — согласился Графт. — А сколько стоит?

— Это зависит от сердца. Вот это — тысячу, а вот это — сто.

— А почему так дешево?

— Оно бракованное. Видишь, треснуло.

— А чего оно треснуло?

— Не знаю. Уронили, наверно. Или от холода. Но ты не бойся, треснутое сердце даже лучше. Оно светит, конечно, не так ярко, зато чувствует больше и сильнее. Ты ведь хочешь приносить пользу — тебе пригодится. Парадокс, но поврежденные сердца приносят гораздо больше пользы. К тому же у меня сегодня акция: если ты купишь это треснутое сердце, в подарок ты получишь красный клоунский нос и оленьи рога.

— Зачем мне оленьи рога?

— Как это зачем? А вдруг на тебя нападет олень! Что ты будешь делать без рогов?

Графт покачал головой.

— Я не думаю, что на меня нападет олень, — сказал он.

— Ты смотри, какой самоуверенный! — цокнул языком Коричневый Плащ. — Ну, если не хочешь рога, тогда возьми вот эту кожаную перчатку.

— Одну? А где вторая?

Коричневый Плащ разозлился:

— Слушай, чего ты придираешься! Не будь занудой! Ну хорошая же перчатка — смотри!

— Да я вижу, что хорошая. Но ведь она одна, а рук у меня две. — Графт выставил перед собой свои огромные руки, пошевелил пальцами.

— Да-а-а, это проблема, — задумчиво сказал Коричневый Плащ. — Но ты не злись. Я просто продолжаю дело своего отца. Мой папа всегда терял вещи: носки, ботинки, перчатки. И его это ужасно злило, потому что терялись у него всегда парные вещи. И однажды в голову ему пришла гениальная идея: он открыл магазин, в котором стал торговать вещами без пары: одна перчатка, один ботинок, один носок. Идея была проста — ведь люди постоянно что-то теряют, правильно? Особенно носки! Ну вот, представь: потерял ты один носок, и один у тебя остался. Что делает в таком случае обычный человек? Просто выбрасывает второй! Но ведь это — ужасное расточительство!

Выбрасывать вещи! Замысел моего папы был прост: любой человек, потерявший одну из парных вещей, мог просто прийти в его магазин и найти новую пару! Гениально, правда?

— Да, наверно, — с сомнением сказал Графт.

— Вот поэтому я и хочу продолжить его дело. А пока торгую сердцами — коплю стартовый капитал. Уже через год я собираюсь открыть магазин потерянных пар.

— Удачи тебе. Но мне сейчас не нужна перчатка — я куплю вот это сердце.

— Отличный выбор! Хочешь, я заверну его в подарочную бумагу? — спросил Коричневый Плащ.

— Нет, не надо. Оно маленькое — я просто положу его в карман.

— Ну что ж, спасибо за покупку. Не забудь чек, гарантия две недели. Если передумаешь насчет перчатки — ты знаешь, где меня найти. И не жалуйся, если на тебя вдруг нападет олень! Сам виноват — надо было брать рога!

Графт шел по улице, и вокруг не было ни одного оленя.

Сердце тихо билось у него в кармане. Оно было мягкое и горячее, Графту нравилось прикасаться к нему. Раньше он никогда не видел настоящих сердец — и теперь очень удивился, когда заметил, что карман его светится ярко-ярко, дрожащим светом. Как будто там горит костер.

Графт пришел домой, положил сердце на стол и долго смотрел на него. И как-то радостно было у него внутри. «Надо же, — думал он, — теперь у меня есть собственное сердце. Это очень приятно. А почему — непонятно. Без всякой причины».

Он подошел к плите, взял чайник и хотел налить воды — и вдруг услышал тихий шлепок. Он обернулся — сердце упало со стола и покатилося к двери.

— Стой!

Графт догнал его и подхватил. Сердце вспыхнуло — и на мгновение ослепило его. И пока из глаз его сыпались искры,

он увидел лицо девушки. Сердце принадлежало ей — и теперь стремилось обратно.

— Но ты мое! Я ведь тебя купил, — сказал Графт.

Сердце снова вспыхнуло, и он почувствовал, как внутри у него все заболело — как будто птица била крыльями у него под ребрами, в пустоте.

Сердце снова выпало у него из рук и, как клубок ниток из сказки, покатилося к двери. Графт открыл дверь — и сердце выкатилось наружу. Оно катилось медленно — и светилось все сильнее. Графт шел за ним и иногда нес его на руках, переносил через лужи и помогал переходить дорогу. Люди оглядывались удивленно.

— Вот чудак! — восклицали прохожие. — Сердце выгуливает! Все же знают, что сердце надо держать под замком или на поводке, чтоб никто не украл и не разбил. Одни проблемы от него. Глупый орган, — говорили они и шли дальше.

А Графт шел за сердцем. Оно привело его в парк, где на скамейке у озера сидела девушка с длинными волосами. Волосы были такие длинные, что путались вокруг скамейки и лежали на дороге. Прохожие осторожно переступали через волосы и ругались:

— Ишь, разбросала свои косы! Причесалась бы хоть, шельма!

Девушка не слушала их, она кормила стаю воробьев хлебными крошками. Сердце подкатилось к ней и остановилось. Девушка испуганно посмотрела на него, потом — на Графта. Графт поднял сердце, отряхнул от пыли, снял несколько сигаретных бычков, прилипших по пути, и протянул сердце девушке.

— Кажется, оно ваше, — сказал он.

Девушка посмотрела на сердце — и пожала плечами.

— Больше нет. Я подарила его.

— Как? Кому?

Графт стоял, не двигаясь, окруженный воробьями. Воробьи сидели на его ботинках, на руках, на плечах, на

голове — и даже на носу и на ушах. И каждый воробей смотрел на сердце.

— Я подарила его одному человеку, — сказала девушка. — А он поменял его на ботинки. Синие, замшевые, с белыми шнурками.

— А что было дальше? — спросил Графт, и воробьи взлетели с его рук, носа и ушей, покружились над ним и расселись на ветках акации.

— Ничего, — сказала девушка. — Он до сих пор ходит в этих ботинках.

Графт сел рядом с девушкой и положил сердце ей на колени.

— Где вы его нашли? — спросила она.

— Купил.

— А зачем оно вам?

— А у меня нет сердца. Я родился без него. Хотел вот, так сказать, восполнить пробел. Но раз уж оно ваше, то...

— Но я не могу забрать его у вас.

— Почему?

— Оно слишком тяжелое. Сердце — центр тяжести человека. Вся тяжесть в нем скапливается, а я не хочу так. Я не смогу его нести — мне тяжело, я надорвусь.

Графт долго смотрел на девушку — ему хотелось прикоснуться к ней.

— Хочешь, я помогу тебе нести его? — спросил он.

Так они и сделали. И жили долго и счастливо — с одним сердцем на двоих. А Графт с тех пор вместо камня носил в кармане только конфеты. Он больше не боялся ветра.

>>>

— А почему его зовут Графт?

— Это твое первое слово. Первое, что ты сказал в жизни, — засмеялась мама. — Вот я и подумала: неплохое

имя для сказочного персонажа. У кого-то первое слово «мама», а у тебя — «графт». Ты как будто рычал или лаял.

Окончив рассказ, мама целовала меня в лоб, выключала ночник и уходила. А я лежал в кровати, таращился в потолок и думал: о Графте, и его бессердечии, и о камне в его кармане, и о Коричневом Плаще, и его странных затеях, и, конечно, о девушке, которая подарила свое сердце незнакомцу. И я мечтал, чтобы какая-нибудь девушка с длинными волосами подарила свое сердце мне. Я бы никогда и ни за что не променял ее сердце на синие замшевые ботинки с белыми шнурками. Я берег бы его, сдувал бы с него пылинки — и каждый вечер, сидя в кресле, читал бы (или писал) книгу при свете этого сердца.

>>>

Если мама в своих историях делала упор на воображение и развитие души героя — ее притчи учили добру и храбрости, — то рассказы отца были другими, под стать его характеру, они напоминали краткие эссе о природе вещей. Когда приходила его очередь провести со мной вечер, он садился не на край кровати, как мама, а на стул, оглядывал комнату, выбирал какой-нибудь незначительный предмет — например, карандаш, канцелярскую скрепку или, как было однажды, стену — и начинал:

— Сегодня мы поговорим о стенах. Что мы знаем о них? Я пожимал плечами.

— Ну, во-первых, они отлично играют в теннис — и всегда выигрывают, — говорил отец, стараясь сохранять серьезность. — Во-вторых, стены — скучные собеседники. Мой тебе совет, сын: никогда не разговаривай со стенами — это пустая трата времени. Парадокс: в народе стена не считается таким уж революционным изобретением; во всяком случае, в рейтинге полезности она уступает колесу и математике. Но, по-моему, это несправедливо: вот мир без математики